



З. Н. ГИППИУС

Благоухание седин

Из книги «Живые лица» (1924)

О МНОГИХ

8

<...> Рассказ мой о «благоуханных сединах» людей, встреченных на заре юности, окончен. Тут следовало бы поставить точку. Если я расскажу об единственной моей встрече еще с одним старцем — яснополянским, то уже в виде приложения. От моей темы я не отступаю: благоухание *этих* седин знает весь мир. Но встреча наша произошла поздно, в 1904 году, была почти мимолетней, и рассказ о ней будет краток.

Поехать к Толстому? Увеличить толпу и без того утомляющих его посетителей? ¹ Но у Мережковского были особые причины желать этого посещения, отчасти — паломничества: только что выпустил он свою трехтомную книгу о Толстом («Лев Толстой и Достоевский»), где был к Толстому не совсем, кажется, справедлив, и только что произошло знаменитое «отлучение» Толстого от Церкви, акт, всех нас тогда больно возмутивший. Словом, чувствовалось не то что любопытное желание «взглянуть» на Толстого, а просто какое-то к нему влечение.

Мы стороной решились узнать, когда можем и можем ли приехать, не обеспокоив, и лишь получив через Сухотиных записочку, прямое приглашение (и даже маршрут!), поехали в Ясную Поляну.

На станции нас ждут лошади. Начало мая. Светло, только что пробрызнул холодный дождь. Над полями пронзительно поют, точно смеются, жаворонки. В аллее, когда мы подъезжали к дому, деревья роняли на нас крупные радужные капли.

Внизу, в маленькой, не очень светлой передней, к нам навстречу выбежала (действительно выбежала) полная, но еще стройная женщина: это Софья Андреевна:

— Ах, вот они!

Вмиг овладела нами, распорядилась, повела нас в приготовленные две комнаты — это были комнаты совсем внизу; кажется, в одной из них помещалась когда-то рабочая комната Льва Николаевича, она есть на рисунке Репина.

Пока Софья Андреевна вела нас туда, успела рассказать, что осталась на сегодняшний вечер только для нас, что завтра в шесть часов утра должна ехать в Москву — «все по делам изданий!» — но чтобы мы не беспокоились, она уже отдала все распоряжения насчет лошадей (мы уезжали на другой день с двенадцатичасовым).

— Вот поправьтесь с дороги и выходите наверх, сейчас будем обедать!

Убежала. Ее живость меня сразу привела в удивление и даже слегка обеспокоила.

Мы в длинной столовой-зале, с окнами на обоих концах. Стол тоже длинный. Народу много, но не очень; все, кажется, родственники.

Софья Андреевна знакомит, хлопочет:

— Садитесь, садитесь! Лев Николаевич сейчас выйдет!

Мы уже начали усаживаться, когда из дальней двери налево², шмыгая мягкими ичигами, вышел небольшой, худенький старичок в подпоясанной блузе. Длинная блуза топорщилась на сутуленной спине.

Он шаркал довольно быстро, тотчас стал здороваться. Но меня поразило почему-то, что он — маленький. Это — Лев Толстой? Если все бесчисленные портреты, которых мы навидались так, что они точно вросли в нас, если они — Толстой, то этот худенький старичок не Толстой. Словом, не могу их соединить, нового живого — с неживым и привычным.

Софья Андреевна сидит на конце стола, я — сбоку, налево от нее, Толстой направо, прямо против меня. Стол узкий, я вижу хорошо и серую блузу, и редкую седую бороду, слегка впадающую в желтизну, и темные густые брови: они как-то не грозно, а печально нависают над глубоко сидящими глазами. Глаза детские или старческие — с бледной голубизной.

Толстой говорит с Мережковским; что-то о дороге, кажется, я не слышу, за столом очень шумно. Софья Андреевна ест быстро, с манерой всех близоруких, немножко «под себя». Не забывает потчевать пирожками. Блюда подает лакей в белых перчатках.

Середина стола вся — в бутылках с винами. А скоро перед Софьей Андреевной (то есть и перед Толстым) воздвиглось блюдо с жареным поросенком — даже помню его оскаленные зубы.

Толстой, впрочем, не смотрит, он ест свое, отдельное, в маленьких горшочках, ест по-старчески внимательно, долго жует губами.

После обеда Софья Андреевна тщательно и весело показывала нам яснополянский дом, все картины, все портреты: «Вот это — Берсы!» — говорила не без гордости, указывая на ряд потемневших полотен. В ее комнате — мольберт, она занимается живописью.

— А вот спальня Льва Николаевича.

Небольшая комната, белая пружинная кровать, столик, почти ничего больше...

Мы выходим на деревянный широкий балкон: парк внизу полон душистой весенней сыростью.

— Вы из Москвы за границу едете? — говорит Софья Андреевна и тотчас, обратившись ко мне, шутит:

— Вот оставайтесь здесь со Львом Николаевичем, а я вместо вас поеду за границу! Ведь я никогда за границей не была!

Бледными сумерками Софья Андреевна ведет нас в парк. Она, как девочка, прыгает через канавки, торопится все показать, все рассказать... Мы обходим кругом, она объясняет, какая роща какому принадлежит сыну, какая будет нынче сведена... И уже опять о завтрашней своей поездке в Москву, об изданиях — дела, дела...

Возвращаемся в длинную залу. В дальнем углу, где стоят диван и кресла вокруг круглого стола, — Софья Андреевна теперь за *broderie anglaise* *, на диване, и низко клонится к лампе с широким белым абажуром. Толстой сидит немного в стороне, в своем, должно быть, кресле, в привычно усталой позе. Случайных посетителей нет, только двое или трое каких-то, видно постоянных, жителей да молчаливый мужчина в коричневом охотничьем костюме.

Привычно усталым голосом Толстой говорит привычные вещи. О жизни... О молитве... Но Софья Андреевна и тут, схватывая момент, успевает сказать напротив. Молитвы? Нет, а она верит, что можно в молитве просить о чем-нибудь и непременно исполнится. Толстой заговорил неодобрительно о современных стихотворцах, упомянул Сологуба... Софья Андреевна срывает

* Английские кружева (*фр.*).

сы с места, хватает с рояля номер иллюстрированного журнала и прочитывает вслух стихотворение Сологуба.

— А мне — нравится! — говорит она не без вызова³, возвращаясь к *broderie anglaise*.

Скоро мы перешли на другой конец залы, к чайному столу. Чай пить явились не все сразу. И очень быстро, один за другим исчезали. А Толстой тут-то и стал оживать. Сам затеял разговор. Слушали его лишь каких-то два крайне молчаливых человека. Даже Софья Андреевна ушла (завтра к раннему поезду вставать!), простившись с нами весело и прелюбезно.

Разговор в подробностях забылся, скажу лишь о том, что помню наверное. Да и говорил Толстой, вероятно, то, что всегда и многим говорил, что много раз записано, но тон был очень оживленный, и чувствовалось, когда он обращался к Мережковскому, что книгу его о себе он читал. (Так оно и было: Толстой все читал, знал всю современную литературу. Даже наш религиозный журнал «Новый путь» читал!)

— Все хочу настоящий дневник начать и не могу. Ведь если бы записать правдиво хоть один день моей жизни, ведь это было бы так ужасно...

— Как, — перебиваю я, — *теперешней* вашей жизни?

Толстой кивает головой: да, да, *теперешней*...

Мне странно. Что это? Такая бездна смирения? Чем он считает себя так грешным — теперь?

Мы говорим, конечно, о религии, и вдруг Толстой попадает на свой зарубку, начинает восхвалять «здравый смысл». — «Здравый смысл — это фонарь, который человек несет перед собою. Здравый смысл помогает человеку идти верным путем. Фонарем путь освещен, и человек знает, куда ставить ноги...» *

Самый тон такого преувеличенного восхваления «здорового смысла» раздражает меня⁴, я бросаюсь в спор, почти кричу, что нельзя в этой плоскости придавать первенствующее значение «здоровому смыслу», понятию к тому же весьма условному... и вдруг спохватываюсь. Да на кого это я кричу? Ведь это же Толстой! Нет, я решительно не могу соединить худенького упрямого старичка с моим представлением о Льве Толстом. Не то, что этот хуже или лучше, а просто Львов Толстых для меня все еще два, а не один.

В сущности же, маленький старичок говорит именно то, что говорит и пишет Л. Толстой все последние годы. Я понимаю, что Толстой — «материалист». Но я понимаю (утверждаю это и те-

* За точную дословность не ручаюсь.

перь), что Толстой — совершенно такой же «материалист», как и другие русские люди его поколения, религиозно-идеалистические материалисты. Только он, как гениальная, исключительной силы личность, довел этот идеалистический материализм до крайней точки, где он уже *имеет вид* настоящей религии и отделен от нее лишь одной неуследимой чертой.

Переступил ли ее Толстой? Переступал ли в какие-нибудь мгновения жизни? Вероятно, да. Думаю, что да. Мы говорили о воскресении, о личности. И вдруг Толстой произнес ужасно просто, потрясающе просто:

— Когда умирать буду, скажу Ему: в руки Твои предаю дух мой. Хочет Он — пусть воскресит меня, хочет — не воскресит, в волю Его отдамся, пусть Он сделает со мной, что хочет...

После этих слов мы все замолчали и больше уж не спорили ни о чем.

Утром, часов в восемь, мы столкнулись, выходя из своих комнат, со Львом Николаевичем в маленькой передней. Он возвращался с прогулки, бодрый, оживленный, в белой поярковой шляпе.

— А я к вам стучал, чтобы вместе пройтись, да вы еще спали! Пойдемте чай пить.

На невысокой внутренней лесенке, ведущей в залу, он остановился на минуту вдвоем с Мережковским и сказал, глядя ему в лицо старчески-свежим взором:

— А я рад, что вы ко мне приехали. Значит, вы уж ничего против меня не имеете...

В столовой было пусто. Кто-то — не помню кто — разливал чай, но пили мы его втроем. Чай вкусный, со сливками, со свежими булками.

Хозяйки не было, но в «графском» доме шло все по заведенным порядкам. Слуги приходили и уходили бесшумно. Метрдотель принес даже «его сиятельству» меню на утверждение: видно, такой был издавна обычай. Толстой бегло взглянул (и что бы он стал там читать да обсуждать?), сделал утвердительный и слегка отстраняющий жест рукой, метрдотель ушел удовлетворенный.

Все это утро мы проговорили втроем. Толстой был весел, куда веселее вчерашнего. Коренных и спорных тем не касались, говорили хорошо обо всем. Тут-то и выяснилось, между прочим, что Толстой все читает и решительно за всем следит.

Подали лошадей. Толстой вышел нас провожать на крыльцо. Трава блестела, мокрая от ночного дождя. На солнце блестела и белая, с желтизной, борода Льва Николаевича, а сам он ласково щурился, пока мы усаживались в коляску.

И мы уехали — опять через поля, где еще пронзительнее вчерашнего пели-смеялись жаворонки...

Это — в виде «приложения». А вот, для эпилога, последнее... не воспоминание, а упоминание еще об одном человеке, овеванном благоуханием седин. Рассказывать о нем не нужно, он жив, все знают о нем столько же, сколько я; о своей жизни, замечательной и волнующей, он расскажет сам, если захочет... Это — Николай Васильевич Чайковский.

О, конечно, он моложе тех, друзей моей юности. А все-таки он не сын их, он — младший брат. Он того же поколения и шел тем же путем, каким шли они. Только он успел, как младший, сделать на этом пути еще один, последовательный шаг. Н. В. Чайковский — уже не романтик-идеалист, называющий себя «материалистом». Но и не имеет идеализм его облика религии, только облика. Оставаясь, по существу, таким же, какими были лучшие люди его поколения, Н. В. Чайковский *исповедует христианскую религию*.

Если знали многие из сынов тех лет России настоящую юность, если благоухали в старости их седины, не оттого ли, что зерно религиозной правды тайлось в душе каждого? И напрасно обманывать себя: не будет та поросль истинно молодой и живой, которая не пойдет от крепких, старых корней.

Не надо возвращаться к старикам. Не надо повторять их путь. Но «от них взять» — надо; взять и идти дальше, вперед... и тогда уж, пожалуй, действительно «без страха и сомненья».

